

Егор ИСАЕВ, лауреат Ленинской премии

Народный пласт «Поднятой целины»

И никакой он не тихий «Тихий Дон». В нем пуля в пулю, клинок о клинок. В нем связка многих сил, круто сплетенных, как разные потоки в одной большой реке: их нельзя расчленишь, а расчленишь тем более.

И, пожалуй, самая значительная среди них — сила абсолютной художественности. Шолохов — художник, художник и еще раз художник!

МЫСЛЬ Шолохова — не просто фраза, не просто то или иное общее высказывание по поводу и без повода, мысль Шолохова — это обязательный характер, образ, лицо мысли. Жест. Конфликт. Направление и социальный градус конфликта и — обязательно — красота. Красота любви, красота труда, красота природы, красота мучительно выстраданной правды. Его философия, его публицистика всегда, как соль в крови, без остатка растворены в живой клетке слова. Тут Шолохов, можно сказать, верный последователь Тютчева: изречение не всегда есть правда. Правду надо еще изобразить, предъявить, доказать надо. И этому своему творческому принципу на грани предвидения Шолохов неизменно следовал. Помните встречу Григория с Аксиньей в подсолнухах? Там Аксинья чуть ли не слезно упрашивает Григория уехать в город, на шахты. А Григорий, еще юноша тогда,

вдруг неожиданно по-зрелому говорит: а как же быть с землей? Кто на ней-то останется?

Так вот, чья она сейчас, земля? Что с ней?

Не будучи профессиональным литературоведом, специалистом по шолоховскому творчеству, я все-таки возьму на себя смелость сказать и вот еще о чем: Шолохов равновелик и как художник, и как композитор. Да, да, я не оговорился, нет. Именно как композитор и, скорее, даже как дирижер — так в его произведениях осязаемо дает о себе знать исключительное чувство соразмерности и слаженности малого и великого, частного и целого, дает знать отнюдь не в механическом, не в химическом, так сказать, проявлении, а в биологическом. Ведь что ни говори, а большая литература — это все-таки органика, а не что-то такое другое, что можно легко свинтить-развинтить. По непреложным законам языка — живое можно только вырастить.

СОШЛЮСЬ для примера на авторитет Достоевского, в частности, на его роман «Братья Карамазовы». Перечитывая его, я вдруг неожиданно для себя понял: передо мной не просто обычное, жанром обусловленное изложение событий, но еще и некая, построчно и постранично развернутая формула-хромосома, которая присутствует буквально во всем и буквально всему определяет свое место, дает именную знак. Алеша — совесть, Иван — мысль, отвергающая совесть. Дмитрий — страсть, не всегда послушная мысли. А какую функцию в таком раскладе несет на себе Смердяков? Что его толкает к убийству отца, Карамазова-старшего? Алчность? Нет. Он же не воспользовался деньгами после убийства. Тогда что? Тогда самое страшное — абсолютное бесправие. Он вне закона рожден и вне закона влечет свою жизнь в качестве лакея в отцовском доме. Он — Смердяков, он никто и ничто. А раз это так, то и закон для него не закон. И суд для него не суд. За ним остается единственно возможное право — право мстить за бесправие. Вывод: бесправное недопустимо, поскольку оно уже само по себе наказание.

(Окончание на 3-й стр.)

Правда — 2005 — 17-18 мая — с. 1, 3

Егор ИСАЕВ, лауреат Ленинской премии

Народный пласт «Поднятой целины»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мысль же без нравственного повода — разрушительна, если даже не опасна. Бесплодна и бездействующая совесть. Торжествуют только правда и любовь: на каторгу вместе с безвинно осужденным Дмитрием по своей воле уходит и Грушенька.

А теперь вернемся к Шолохову. Разве в его романе «Поднятая целина» нет своей формулы-хромосомы? Есть. И причем тоже довольно-таки влиятельная, точная. Возьмем расстановку главных, противоборствующих фигур. С одной стороны — три и с другой — три. Половцев, Лятевский, Островнов делают все, чтобы исподволь подготовить, а затем произвести взрыв на Дону в масштабах всего казачества, а Давыдов, Нагульнов, Разметнов локализируют этот взрыв до взрыва лишь одной ручной гранаты и короткой пулеметной очереди. Налицо, как видите, почти математически точный расклад действующих сил, логическая спираль замысла, общую конфигу-

она, Лушка, просто любит любовь — туляет напрадую. А кого она по-настоящему любит? А любит она одного только — красивого парня, сына раскулаченного кулака Рваного. И когда Давыдов из засады на рассвете убивает его как классового врага, Лушка тут же гасит свой костер и, погасшая, не оглядываясь, уходит туда, куда, помните, Аксинья в «Тихом Доне» уговаривает уйти Григория — в город, на шахты. И параллельно к этому, помните, эпизод из того же «Тихого Дона»: солнце вдруг на мгновение становится черным в глазах Григория, когда чья-то пуля — красная или белая — настигает Аксинью и срезает ее с коня.

Мудреней всего, конечно, образ неприкаянного дела Шукаря. Оглядывая в памяти всё, что прочитал когда-то, — аналогов не вижу. Юродивый Пушкина? Дон Кихот? Шуты разные?... Отчасти, да. Но только отчасти. До полной разгадки далеко. Для меня пока что ясно только одно, что дел Шукарь — это такой хитро-

Зорким был, однако, Михаил Александрович. Далеко доставал словом.

И другой эпизод, тоже примерно из того же роула — это когда Давыдов, распаленный известием о том, что его казаки-колхозники вместо того, чтобы косить траву на лугу, сидят там кружком и в картишки поигрывают, а бабы в церковь на службу ушли, бурей налетает на играющих. Хорошо еще, что конь в тот момент умнее седока был: наступил на подстилку и свечой взвился над играющими. Еще бы чуть — и ненароком стопать бы мог. Благо Устин был рядом — схватил коня под уздцы и заодно с ним резко осадил и наездника: нежже тебе так, председатель. Нежже. Власть-то, чай, не твоя только, а наша, совместная. Нельзя так на нас, как мы на вас при царе. И Давыдов сразу же остыл — понял. Слез с коня и тоже начал играть в карты. И что удивительно — выигрывать стал, не замечая в азарте того, что его товарищи — товарищи! — казаки ему сознательно подыгрывают. Вот он где, Давыдов, был наконец не откомандирован по диктатуре пролетариата, а единогласно избран в председатели.

И буквально несколько слово личного порядка.

Как-то раз в деревне, вернувшись с рыбалки, я, веселый, вошел в избу, а там, гляжу, мама в углу у репродуктора сидит и плачет. Я к ней: что с тобой, мама? А она, не вытирая слез, указывает на матерчатый кружок репродуктора и говорит горестно: «Шолохов, Шолохов там, сынок... Две несчастных сироты там...» Прошло уже много лет с той поры, а вот волна из того рассказа Шолохова, из той деревенской картины никак не уходит, никак не отволнуется в моей памяти и в сердце. Никак не отволнуется и главная мысль того рассказа, а именно: уж если две сиротские судьбы — судьба взрослого человека и судьба человека-ребенка, — пройдя сквозь все мыслимые и немыслимые испытания, нашли наконец-то друг друга и буквально больше, чем покровному, сошлись в одну судьбу, судьбу сына и отца, значит, быть нашему народу, народу-победителю, сейчас и вовеки.

ТЕПЕРЬ о доме Шолохова. В отличие от вызывающе помпезных и нелюдимых за трехметровыми кирпичными заборами замков всевозможных олигархов дом Шолохова в Вешенской небольшой, в два этажа всего. Но это по габаритам так. А если по душе, по чуткости своей — он, пожалуй, самый у нас общительный и гостеприимный в стране. Кто в нем только не гостевал! Гостевали в нем и путлиевские рабочие из Ленинграда, и пионершкoльники из Сталинграда, и космонавты, и ученые, и молодые и немолодые писатели из разных республик и краев. И все они находили в нем поддержку, совет и участие. Что же касается начальства, особенно высокого, дом и его обыкновенно великий, скромный хозяин были обычно более сдержанными, с выбором были. Шолохов редко кого из них с полным добродушием принимал. Держал дистанцию. Один раз только он под большим нажимом поехал с Хрущевым в Америку, но об этом потом — ни слова, ни полслова.

Не любил он саморекламщиков и в литературе. Не хотел, так сказать, быть фоном для их чрезмерно ненормального тщеславия. В качестве примера приведу такой казусный случай. Один московский поэт как-то нежданно и негаданно нагрянул в Вешенскую и немедленно попросил Шолохова принять его такого чрезвычайно нетерпеливого. Шолохов его принял, выслушал внимательно, а вот чаем... чаем почему-то не угостил. Поэт страшно разобиделся и по приезде в Москву чуть ли не на весь мир об этом раззвонил.

А вот Сталин почему-то не разобиделся. Сталин! Хотя повод для обиды у него был куда как серьезнее, чем какой-то стакан чая. Ведь все тогда в народе знали, особенно фронтовики, что на фронте, поднимаясь в атаку, нередко кричали: «За Родину! За Сталина!» А вот этот, донской писатель, как будто и слухом об этом не слыхивал — взял и отсек в названии романа не менее значительную его часть, а именно: «За Сталина!» Не дерзость ли, а? Но Сталин будто и не заметил этого.



Фото «Правды».

рацию которого даже под микроскопом обнаружить трудно. Настолько он органичен во всем.

Говорят, что роман «Поднятая целина» в чем-то уступает «Тихому Дону». В чем-то да, согласен. В объеме, скажем, в особой резкости ситуаций, в масштабе конфликтов... Там, в «Тихом Доне», две войны подряд, беспрецедентная интервенция, а тут, в «Поднятой целине», время хоть и переломное, но не такое уж чтоб. Масштаб помельче и площадь поуже... Но — стоп! А глубина? Ведь, как подсказывает классика, масштаб поверхности и даже масштаб объема не всегда превышает масштаб глубины. Примеры — вот: тот же роман Шолохова «Они сражались за Родину» и роман Бондарева «Батальоны просят огня». В них площадь боя и передовая линия огня во много раз короче, скажем, линии огня дивизии, армии, фронта, а глубина подвига этих коротких войсковых подразделений по сути безгранична и до конца непостижима. Что же касается художественной стороны, то и тут, как мне кажется, «Поднятая целина» мало в чем уступает своему знаменитому предшественнику.

Характеры и там, и там — крупные, неповторимые по-своему. Давыдов — пролетарский моряк с Балтики, Нагульнов — красивый рубака-казак из Первоконной. Оба они ищут правду. Давыдов, кажется, уже нашел, а Нагульнов все еще никак не успокоится: подай ему мировую революцию — и всё!

Ровнее всех их Разметнов: он казак-крестьянин. Он-то как раз и остается в живых после разрыва гранаты и пулеметной очереди. За Разметновым — мир, за ним — совет, за ним — будущее.

АВОЗЬМЕМ Лушку. Чем, скажите, ее образ холоднее образа Аксиньи? А ничем. В привлекательности своей они обе — королевы, а вот по градусу любви, по зажигательности своей Лушка, пожалуй, несколько погорячей будет. Уж если она заприметила кого, то тут, милост, держись — одним взглядом, как одним махом, с копьюток съобьет. Давыдов — на что уж устойчивый в таких делах морячок-пролетарий, а и тот не устоял — пал. Ее законный муж до третьих петухов с мечтой о мировой революции яхшается, а

ванский, в хорошем значении, образ, в котором по доброй воле автора явлено миру живое представление народа о диалектике, как о самом наизытейски необходимом сопутствии простого — сложному, слабому — сильному, по-детски наивного, дурашливого — значительному, важному. Короче: есть такая чудинка в народе и якобы простота, которыми зачастую проверялись на прочность куда как непростые события в истории рода человеческого.

НЕСКОЛЬКО слово о товариществе и о власти. Прямых высказываний на этот счет в романе нет. Шолохов, как я уже говорил выше, предпочитает показ пересказу, наглядность пояснению. Вывод — что к чему — остается за читателем. В этом смысле наиболее любопытными мне представляются два эпизода.

Первый — это по-мальчишески озорная борьба секретаря райкома Нестеренко с Давыдовым, на пашне. Читайте этот эпизод и думаете: вот действительно настоящее товарищество. И то, которое в песне «Наверх вы, товарищи, все по местам...», и то, которое в стихах у Пушкина «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья...» Товарищество — не господство. Должностное высокомерие и нарочитая выставка ума на лице — всего лишь показуха и не более того. По уставу товарищества можно между делом и поозоровать, на коньках покатаются, с детишками поиграть... Но только, повторяю, между делом. Другое дело — дело. Тут дисциплина, строгость нужна, ответственность. А то ведь как недавно получилось: повесили серьезный лозунг «Наше поколение будет жить при коммунизме», вздремнули в его тени, а когда проснулись — гляннули: ба-тошки! — капитализм уже во дворе.

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЕ — о переписке Шолохова и Сталина. Насколько я знаю, их две такого рода и уровня переписки — переписка императрицы Екатерины с Вольтером и вот эта — переписка Шолохова с будущим генералиссимусом. Там — общие разговоры о государственстве, об этике, а тут — сплошная боль в масштабе всего Дона: не будет посевного зерна — естественно, не будет и урожая, не будет урожая — будет поголовная смерть всего казачества. И Сталин, как он ни крут был в характере, тут же отказался на просьбу писателя и больше, чем запрошено, выделил посевного зерна только что раскулаченному Дону. Он знал, Сталин: за Шолоховым — правда. И с ней, как ни гневаясь, надо считаться.